

## Чтение рассказа А. П. Чехова «Жалобная книга»

Л. Ю. Фуксон

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Можно ли, в связи с проблемой предпонимания, говорить о смысле названия до того, как мы приступили к чтению рассказа? Чем мы располагаем в начале? Прежде всего – значением, то есть готовой (дочеховской) семантикой. Мы должны *заранее* знать, что такое жалобная книга. Однако неверно было бы сводить все предварительное понимание к пониманию значения. Дело в том, что выражение «жалобная книга» не висит в воздухе и дано здесь не в словаре, а как часть текста. Контекст (категория не значения, а смысла, не языка, а речи) создается здесь тем, что слова «жалобная книга» – в момент чтения – берутся *в качестве названия* рассказа, а не сами по себе. Название произведения маркирует *предмет изображения*. Поэтому к знанию того, **что такое** жалобная книга, добавляется знание того, что **об этом пойдет речь**. (Здесь мы абстрагируемся от прочих моментов всего богатого комплекса смыслоожиданий, например, того, что перед нами именно *чеховский рассказ* и т.д.).

Описание местонахождения жалобной книги должно а priori иметь отношение к ее содержанию. Тем важнее заметить, что это описание в первом абзаце рассказа создает образ **закрытости**: во-первых, имеется в виду буквальная закрытость как «специально построенная» конторка; во-вторых, выясняется, что есть ключ, означающий наложение определенного запрета. Ключ для запираания конторки должен оградить жалобную книгу. Но от чего? Характер запрета помогает выяснить фигура «станционного жандарма», к которому повествователь отсылает как к хранителю ключа. Это **официальный** запрет. Официальный характер самого назначения жалобной книги соответствует официальному статусу хранителя ключа, который как раз нужен для того, чтобы уберечь жалобную книгу от всего **неофициального как постороннего**.

Однако повествование создает образ закрытости как разрушаемый. Дело здесь не только в сообщении о фактической ненужности ключа и постоянной открытости конторки, но и в самой неофициальной обращенности повествования к читателю: «Раскрывайте книгу и читайте...». Собственно, жалобная книга предполагает лишь одного – официального – читателя – станционное

начальство. Поэтому читатель чеховского рассказа ставится в положение нарушителя указанного запрета: жалобная книга **раскрывается** не для выполнения своей прямой казенной *деловой* функции, а как предмет *праздного* любопытства. Но такая неофициальная позиция, на которую настраивается текстом читатель, подготавливает соответствующее содержание. Поэтому еще до чтения самой жалобной книги мы обнаруживаем в рассказе конфликт «закрытости» официального ее назначения и неофициальной ситуации ее раскрытия, вторжения чего-то постороннего. Это тот смысловой горизонт, на котором и во взаимодействии с которым осуществляется понимание дальнейших записей, каждая из которых занимает место жалобы, являясь поэтому *как бы* жалобой.

С другой стороны, позиция адресата, занятая читателем, лишает его статуса постороннего, непричастного наблюдателя: надписи книги жалоб обращаются ко *всем*, кто их читает. Поэтому, например, выражение «Милостивый государь...» может пониматься не только как начало ожидаемой жалобы (казенное клише), но и как обращение к читателю. Соответственно, вторая половина начальной записи указывает, во-первых, на хулиганское использование места, предназначенного для делового текста, в праздных целях, а во-вторых – на обманутое ожидание читателя, настроившегося было началом записи на официальный тон. Кроме того, если обратить внимание на фразеологический характер выражения «проба пера», появляется семантика метафоры первого литературного опыта. Этот смысл работает лишь при соотнесении его с *началом* самой жалобной книги. «Перо» в такой плоскости обозначает нечто совершенно неофициальное – творческую свободу в противовес казенной регламентированности. Вторжение этой установки на официальную территорию книги жалоб и есть акт хулиганства.

К ситуации нарушения казенного запрета читатель, как уже отмечалось, приготовлен с самого начала. Причем важно то, что каждая запись должна пониматься не иначе как на фоне этого запрета на все постороннее – в контексте официальности книги жалоб.

То, что читатель не удерживается на позиции стороннего наблюдателя и оказывается причастным отношениям, развертываемым в тексте, демонстрируют две записи одного типа: «Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет. Я – морда твоя» и «Кто писал не знаю, а я дурак читаю». Сходство этих записей, во-первых, чисто внешнее – стихотворная форма и шутливо-оскорбительная направленность. Во-вторых, в обоих высказываниях нарушена обычная граница говорящего и адресата, читатель оказывается втянутым в сферу изображаемого, как бы видит *свой* «портрет» и вынужден принять «дурака» на свой счет.

Ожидаемые от жалобной книги тексты должны быть направлены *мимо* праздного взгляда постороннего наблюдателя прямо к начальству, но приведенные записи не дают остаться в стороне, обращаясь *к любому* читателю. Смысл этого обращения не официально-деловой, а фамильярно-шутливый. Причем важно то, что «я» и «ты» здесь носят не частный, а универсальный характер. Брань («скотина», «морда», «дурак») здесь не относится к отдельному лицу, а является эксцентричным отрицанием безликости. Имеется в виду нарушение казенных дистанцированных отношений фамильярным контактом, если воспользоваться выражением М. М. Бахтина.

*Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин.*

Здесь разрушается граница не субъекта и адресата высказывания, а субъекта и предмета. Благодаря речевой ошибке И. Ярмонкин становится шляпой, что порождает конфликт серьезного содержания (утрата головного убора) и смехового (шляпа – растяпа). Первое делает запись похожей на жалобу, а второе, наоборот, разрушает ее официальный смысл. Микромоделью надписи, а также всего рассказа, является сочетание «сией станции», где слово «сией» указывает на стремление соблности книжный, казенный стиль, а нарушение орфографии – на победу стихии устной речи: как слышу, так и пишу. Такое же веселое вторжение устного слова слышится здесь в фамилии героя, образованной от просторечного слова «ярмонка» (ярмарка). Вообще ошибки в жалобах и стилистический их разнорядный выполняют различные художественные функции, важнейшая из которых – нарушение ожидаемого в жалобной книге единообразия правильного казенного письма.

*Оставил память начальник стола претензий Коловроев.*

Эта надпись выражает противоположную жалобе направленность: обычно начальство – безликий адресат, а здесь – субъект, конкретное лицо. Но и сама мемориальная акция («Оставил память...») уводит от злободневной плоскости служебных забот к праздному увековечиванию самого присутствия. «Стол претензий» – нечто близкое книге жалоб, однако начальственное лицо дано здесь не «при исполнении», а во внеслужебной ситуации, открывающей, что ему ничто человеческое («постороннее») не чуждо. Поэтому потеря казенной анонимности здесь воспринимается не как утрата, а как приобретение.

Следующая запись представляет собой по форме первую настоящую жалобу: «Приношу начальству мою жалобу...». Однако выражение «Жена моя вовсе не шумела...» позволяет распознать в жалобе нечто противоположное – оправдание. Как заметила одна юная читательница, слово «Приношу...» настраивает на дальнейшие извинения. Это подтверждает ссылка на Андрея Ивановича Ишеева, который может подтвердить благонадежность «поведения» героя. По сути дела, здесь излагается претензия не конторщика Самолучшева, а того, на кого он пытается жаловаться, – кондуктора Кучкина. Старание героини «чтоб все было тихо» оказывается слишком шумным. Действие жандарма («грубо за плечо взял») проясняет положение участников скандала: Клятвин, скорее всего, находится у Самолучшева за спиной, и жест его имеет сдерживающий смысл. В жалобе конторщика потерпевшие выглядят более активной стороной, чем выставяемые грубиянами официальные лица. Поэтому суть происшествия, на которое указывает эта мнимая жалоба, совершенно неофициальна.

Жалобная книга демонстрирует свою *открытость* всему неофициальному, к чему читатель готов уже с описания ее местонахождения. Причем принципиально важна разнородность входящих сюда текстов. «Постороннее» вторгается в жалобную книгу из различных сфер жизни. Например, можно

считать записи «Никандров социалист!» и «Господа! Тельцовский шулер!» в известном смысле жалобами, так как они сигнализируют об определенном нарушении порядка. Но политическое донесение адресовано отнюдь не железнодорожному начальству, а обманутый Тельцовским разоблачает его перед компанией знакомых. В рамки назначения жалобной книги не вписываются свидетельства как политической неблагонадежности, так и подмоченной репутации карточного игрока.

Эти казенно-деловые рамки оказываются тесными и в жанровом отношении. На месте ожидаемых жалоб читатель находит памятную надпись, шуточные стихи и рисунок, моральную максиму («Добродетелью украшайтесь»), любовное признание («Катенька, я вас люблю безумно!»), объявление («Кто найдет кожаный портсигар тот пушай отдаст в кассу Андрею Егорычу»).

Запись, несколько раз начатая, перечеркиваемая и незаконченная, похожа на самую первую тем, что представляет, с одной стороны, вроде бы вступление к жалобе, а с другой – пробу пера. В первом случае шаблон официального обращения («Милостивый государь»), а во втором – пафос возмущения – обрываются, не доходя до сути дела. Гимназист Алексей Зудев использует не необходимый официально-деловой стиль, а публицистический («свежее впечатление», «яркие краски»). В обеих записях не видно реального повода для жалобы, но обнаруживается праздное желание *что-нибудь* написать, оправдывающее фамилию героя. Можно сказать, что текст дает обещание, которое затем не выполняет. Но это относится ко всем записям жалобной книги, каждая из которых задает *ожидание* жалобы, превращающееся в ничто. Такова ситуация чтения рассказа Чехова – **смеховая**, согласно известной кантовской формуле.

Вместе с тем, обнаружение на месте ожидаемых жалоб чего-то другого и открывание официальной закрытости как вторжение *посторонних* – внеофициальных – аспектов жизни создает особый – позитивный – характер смеха, смысл которого заключается в том, что обнаруживается *больше, чем ожидалось*, что жизнь шире своего казенного проявления.

*В ожидании отхода поезда обозревал физиогномию начальника станции и остался ею весьма недоволен. Объявляю о сем по линии. Неунывающий дачник.*

Жалоба – это и есть выражение недовольства. Так что приведенная запись внешне соответствует ожидаемому. Однако предмет ее не официальное лицо в связи с его должностными обязанностями, а лицо в буквальном смысле этого слова – лицо официального лица. На месте ожидаемой казенной характеристики читатель обнаруживает характеристику человеческую. В отличие от безличных казенно-деловых отношений стандартной жалобы, здесь *переходят на личности*. Это уже наблюдалось, например, в стихотворных записях. В данном случае снова нарушаются привычные параметры ситуации жалобы: обычный адресат (начальник станции) становится не субъектом, как начальник стола претензий Коловроев, а предметом. Получается не жалоба начальству, а жалоба на начальство. Соответственно происходит важнейшая для понимания рассказа Чехова смена того, кому адресована жалоба. Ценностная инстанция

перестает носить официальный характер. «По линии» означает открытость всем и всему.

Чтение этой записи неизбежно порождает вопрос о ее авторе. Какое значение в контексте рассказа имеет понятие «дачник»? Очень важно, что субъект шуточного текста – именно дачник, то есть отдыхающий, без-дельник. Его веселый, хулиганский настрой мотивирован состоянием *праздности*. «Обозревать» можно лишь что-то очень большое. Этот масштаб, будучи приложенным к «физиогномии», приобретает иронический смысл. Буква «г» слова «физиогномия» образует речевой кентавр устаревшего книжного слова «физиогномика» и разговорного сниженного – «физиономия». Вторжение дачного настроения на казенно-деловую территорию *раскрывает*, как и в остальных случаях, текст жалобной книги неказенным отношениям.

Второй вопрос, возникающий при чтении рассматриваемой записи, относится к *причине недовольства* «физиогномией» начальника станции. Читателю в пределах текста этой жалобы ничего не остается другого, как исходить из единственной данной характеристики дачника – «неунывающий». Его недовольство вероятнее всего относится к противоположному. Причем унылость «физиогномии» начальника станции – это обычное казенное выражение лица «при исполнении». Такая интерпретация находит подтверждение, во-первых, в том, что казенные отношения предполагаются здесь именно **жалобной** книгой. Унылое выражение лица связывается с чем-то отрицательным – с недовольством. Во-вторых, можно заметить перекличку этой надписи со сплетней о «жандармихе» и «буфетчике Костьке», которая заканчивается ехидным «Не унывай, жандарм!» В этом пожелании можно узнать «неунывающего дачника» (не имеет значения, того же самого или другого такого же). Здесь тоже намешка направлена на официальное лицо, уныние которого вполне недвусмысленно предполагается. Жертва сплетни – жандарм Клятвин, который должен охранять жалобную книгу от всего «постороннего». Нетрудно заметить в связи с этим художественную перекличку двух нарушаемых запретов – закрытость казенного текста и закрытость для «посторонних» официального брака.

Выражение «за реку» подчеркивает здесь нарушение границы социального и натурального. Официальный статус героев («жандармиха», «буфетчик») как бы снимается, выявляя более актуальные ценности. Таким образом, *жанровому* нарушению как вторжению сплетни на место жалобы соответствует откровение внеофициальной стороны жизни.

Анонимная подпись «Неунывающий дачник» прячет лицо под маской. Маска в данном случае, с одной стороны, раскрепощает, помогает обойти запрет, а с другой – заинтриговывает, так как не обезличивает, а делает лицо загадкой. И загадочность эта не снимается следующей записью: «Я знаю, кто это писал. Это писал М.Д.». Инициалы вместо имени – продолжение маскарада, нечто вроде шифра, недоступного никому, кроме веселого круга посвященных. Автор этой записи мог узнать «неунывающего дачника» как родственную душу.

*Проезжая через станцию и будучи голоден в рассуждении чего бы покусать я не мог найти постной пищи. Дьякон Духов.*

Налицо сбывающееся жанровое читательское ожидание: это именно жалоба. Записи постоянно напоминают читателю о том, где они находятся, то есть о казенно-деловой сути жалобной книги. В словах дьякона Духова знаменательны следующие два совпадения. Во-первых, *официальное* сближается с *ритуальным* благодаря единой модальности долженствования; во-вторых, подразумеваемый здесь виновник отсутствия «постной пищи» буфетчик Костька является героем и предыдущей записи, где он тоже дан как нарушитель должного порядка, соблазнитель «жандармихи» Клятвиной.

Читатель, обративший внимание на отсутствие запятой после слова «голоден», обнаруживает авторский насмешливый жест. Но дело вовсе не в безграмотности героя, а в том, что благодаря ошибке происходит малозаметный семантический сдвиг. Между *голодом* и *рассуждением* образуется причинная связь: автор жалобы голоден именно из-за своей привередливости, из-за того, что пытается соединить несоединимое – желание поститься и желание «покушать», что подчеркивает стилистический диссонанс, образующийся разговорным (более «теплым») словом в официально-деловой жалобе. Чувство голода здесь – проявление чего-то натурального и человеческого, которое вступает в противоречие с официальной должностью дьякона Духова (фамилия соответствует должности, как сам человек пытается ей соответствовать). Такой же конфликт естественного (человеческого) и должностного (официального) содержала и предыдущая надпись.

Тем самым жалоба дьякона Духова вписывается в объединяющий все записи *иронический* смысл названия рассказа.

Следующая надпись («Лопай, что дают») снова переворачивает ситуацию обычной жалобы: вместо официальной претензии читатель слышит голос того, в чей адрес она высказана, – буфетчика Костьки – единственного, кого могло задеть недовольство отсутствием постной пищи. Это как бы грубый голос самой природы, как и чувство голода. Природа в рассказе выступает в роли нарушительницы порядка, как, например, предмет созерцания И. Ярмонкина, теряющего свою шляпу.

Надпись буфетчика, которая носит характер *ответа*, открывает жалобную книгу невозможным для нее диалогическим отношениям между самими «жалобами». Обычная жалобная книга содержит разрозненные записи, являясь, собственно говоря, собранием текстов, а не тем единым текстом, который формируется при чтении чеховского рассказа. Понимание «Жалобной книги» является как раз усмотрением в мнимой разрозненности единства, то есть в жалобной книге – рассказа «Жалобная книга». Важно оговориться, что имеются в виду не только прямые переклички надписей. Например, сентенция «Добродетелью украшайтесь» дана сразу после и «на фоне» предыдущих обвинений уволенным телеграфистом всех в мошенничестве и воровстве. Однако образующееся единство текста вовсе не отменяет уже отмеченной *пестроты, разноголосицы* записей.

Кассир неслучайно объявляет о пропаже кожаного портсигара именно в жалобной книге: то, что должно быть закрыто для всего постороннего, в действительности оказывается предельно открытым, максимально пригодным для объявления. Кроме того, предполагаемая официальность снимается не только

жанром и самим пропавшим предметом, отсылающим к внеказенному – *праздному* – аспекту жизни, но и именем (Андрей Егорыч) вместо должности, а также стилем («Егорыч» вместо «Егорович» – разговорный вариант отчества).

*Так как меня прогоняют со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все вы мошенники и воры. Телеграфист Козьмодемьянский.*

Важно заметить, что здесь речь идет не просто о пьянице как нарушителе служебного этикета. Пьяный телеграфист – нарушитель связи, искажитель передаваемой информации, ставящий под угрозу рациональный миропорядок. Строгая мера, увольнение пьяницы со службы, является целью обычной жалобы. Но эта мера дана на заднем плане, а сама официальная жалоба отсутствует. Жалуется, наоборот, изгоняемый телеграфист. Здесь, как и в других случаях, официальное слово оттесняется неофициальной бранью, а безличный порядок – эксцентричной личностью.

Адресат ругани, по-видимому, в первую очередь – официальная инстанция, которой у героя есть основание быть недовольным, хотя «все вы» может иметь и универсальное значение. Это весь рациональный порядок. И неслучайно речь идет о мошенничестве и воровстве – *рассудочных* грехах (в отличие от пьянства). Можно вообще трактовать упомянутый спор казенного и человеческого в «Жалобной книге» как спор рассудка и безрассудства, что особенно ясно видно в последних надписях: моральную сентенцию «Добродетелью украшайтесь» сменяет любовное послание «Катенька, я вас люблю безумно!», а официальный призыв «не писать посторонних вещей» нарывается на грубое «дурак».

Спор официального и человеческого аспектов жизни наблюдается на протяжении всего чеховского рассказа, но в финале это становится прямым – любовным – столкновением. В предпоследней записи мы слышим не жалобу начальству, а жалобу самого начальства, что весьма многозначительно для понимания всей ситуации. Обычная жалоба является попыткой поддержания казенного порядка, апелляция к которому, собственно, утверждает его непреложность, незыблемость. Здесь же «жалобная» интонация официального лица выявляет то, что сам этот порядок ставится под вопрос. Начальственный запрет на «постороннее» оказывается таким же бессильным и ненужным, как ключ от конторки. Последнее слово в жалобной книге остается за «неунывающим дачником» – олицетворением дурачащейся и дурачащей фамильярности «постороннего» (то есть внешнего, большого, неказенного) мира.

Жалобная книга вместо предполагаемого официально-делового, то есть функционального, безличного единства обнаруживает живой спор человеческого с казенным, веселого хулиганства с серьезным недовольством, детской беззаботности с заботой о порядке. Этот спор и завершает «Жалобную книгу». Просьба официального лица «не писать посторонних вещей» и последующее оскорбление («дурак») – модель всего рассказа.

Читатель воспринимает этот спор с той шутиливой, неофициальной точки зрения, на которую текст настраивает его с самого начала. Как уже говорилось, читать жалобную книгу означает нарушать запрет. Так что чтение здесь

---

само носит характер хулиганского вторжения *постороннего* на официальную территорию. Смеховое поведение читателя есть по существу своему **колебание** заданной регламентированности отгороженной сферы жизни, возникающее благодаря тому, что каждая запись жалобной книги напоминает о казенном назначении текста и – *одновременно* – о неказенных «посторонних вещах» – об остальной жизни, о жизни вообще.